

Сергей Степанов-Прошельцев

Избранное



Сергей Степанов-Прошельцев

Избранное

«Издательские решения»

Степанов-Прошелецев С.

Избранное / С. Степанов-Прошелецев — «Издательские
решения»,

ISBN 978-5-0050-7401-0

В итоговый сборник Сергея Степанова-Прошелецева вошли лучшие стихи
восьми книг, выпущенных в разные годы. Он продолжает традиции русской
поэзии.

ISBN 978-5-0050-7401-0

© Степанов-Прошелецев С.
© Издательские решения

Содержание

СТРАНА БОЛЬШИХ ПОЛЯН	6
.	41
СЛЫШИШЬ ЭТУ МУЗЫКУ?	54
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Избранное

Сергей Степанов-Прошелец

© Сергей Степанов-Прошелец, 2019

ISBN 978-5-0050-7401-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СТРАНА БОЛЬШИХ ПОЛЯН

Наша жизнь далека от схемы

* * *

Пробежит проныра-ветер, предвещая снова грозы.
Проплывёт по дюнам вечер и застынет тёплой бронзой.
И закроет солнце туча, гневом летних молний пыша...
У меня такая участь – прочитать, что небо пишет.

У него душа не злая, дождик мучит одинокость.
Он на землю посылает свою искреннюю мокрость.
Эти тоненькие струи говорят о чём-то важном...
Знаю я, что расшифрую эту клинопись однажды.

Дорожники

Я работаю и не ною – так велела моя душа.
И побряхтывает от зноя повидавший виды большак.
Самосвалы сыпают гравий, оглашённо мотор ревёт...
Не укладывается в график запланированный ремонт.

Перебои в поставках часто – они были до нас давно,
и мы кроем вовсю начальство, хоть виной всему не оно.
Кроем дружно мы всю систему, и теперь понимаю я:
наша жизнь далека от схемы планомерного бытия.

Я по фене ещё не ботал, да вот ботаю в унисон.
И от этой тупой работы, как мешки, мы валимся в сон.
Над бытовкой блажит синица, разлетаются облака,
и асфальт почему-то снится, непросохший ещё слегка.

* * *

Земля – это маленький остров,
но манит нас звездный причал.
Найти во Вселенной не просто
каких-то разумных начал.

Но мы, позабыв о насущном,
уверены: в логове тьмы
есть кто-то, какая-то сущность,
что думает так же, как мы.

И так же вздыхает ночами,
и видит, как прежде, одно:
лишь ровное зыбкое пламя
миров, что остыли давно.

* * *

Любовь нельзя измерить, коль в ней наплыв огня...
Разлука – не измена, не осуждай меня.
Что мне с собой поделать? Я в небо рвусь опять.
К небесному приделу не надо ревновать.

Лечу в пространстве полом, чтоб, нагостившись всласть,
в траву на летном поле росистую упасть.
Нежнее нет свиданья, дозволю тебя обнять...
Так после расставанья приходит к сыну мать.

* * *

Свет утра расплывчат и жидок,
он льётся по белым холмам.
Холодные губы снежинок
к моим прикоснутся губам.

Мы так же всё время рискуем
растаять в редющей мгле,
прощальным скрепив поцелуем
любовь нашу к этой земле.

* * *

Был чист тот вечер, как родник,
в осинность рощицы опущенный:
листва нависла над опушкой,
как рыжий лисий воротник.
Был чист тот вечер, как родник.

И мягок был зелёный мох.
И что-то мы вдыхали с ветром.
И шляпой старую из фетра
туман на землю рядом лёг.
Я это выдумать не мог.

Он плыл, стекая, как гуашь,
и обнимал листвой летящею.
Совсем уже по-настоящему
входил октябрь, как видно, в раж.
Такой нечаянный витраж.

* * *

Мы все усложнили. Мы любим – и то на бегу.
Враждуем, взрослеем – и всё это так торопливо.
А время несётся – сквозь радость и нашу беду,
и, может быть, только мгновенье осталось до взрыва.

И мысли ещё в поднебесье порою парят.
Устойчиво всё. И не рушатся мифы и стены.
Как поезд курьерский, на всех своих мчится парах

неведомый гость из какой-то враждебной системы.

Материя смертна. Вселенная мрака полна,
и разум бессилён измерить её протяженье.
Начала ей нет – ведь у бездны не может быть дна:
в ней царствует хаос, в ней вечно лишь только движение.

Но кто-то пророчит: минуют века и века,
и все повторится, и к атому сложится атом,
и вновь мы родимся – из трав и тычинок цветка,
из пламени плазмы – такими, как были когда-то.

Так верить заманчиво в этот далёкий повтор,
в рождение из пекла сверхновых, из ядерной топки,
в бессмертье Земли, её рек, водопадов и гор
и в нашу вторичность, что нам обеспечат потомки.

Мы будем другими. Мы будем умнее в сто крат.
Мы штурмом возьмем запредельно-секретные зоны.
Но память... Наверное, гены её сохраняют —
так помнят о рыбах и птицах людей эмбрионы.

Но кажется мне, что иллюзия этот прогноз.
Стреляет ружье, что на вешалке пыль собирало.
На кнопку нажал – и эпоха летит под откос,
как поезд, который корёжит заряд аммонала.

Слова единственные, те

* * *

В нашей жизни много спорного,
не понять порой всего,
не достиг я, видно, полного
пониманья твоего.

Стало тошно – впору вешаться,
я до крайности был зол
и ушёл в тайгу медвежиться
и берложиться ушёл.

На поляне спела ягода,
был цветенья карнавал...
Вместе с сойкой, птичьей ябедой,
я и вправду горевал.

Там, у счастья за обочиной,
где мы с ней совсем одни,
вспоминал я озабоченно
все потерянные дни.

Забывал, что ты – попутчица,
что сошла на вираже...
Забывал, да не получится,
не получится уже.

* * *

Было ли это? Похоже, было:
это случается лишь весной,
и девочка, что не меня любила,
сидела в беседке рядом со мной.

Она смотрела с такой досадой:
никто такого совсем не ждал!
Только вот голос ночного сада
в чем-то обратном нас убеждал.

Впрочем, признаюсь: на самом деле
в этом весеннем саду вдвоём
просто на звезды мы вместе глядели,
просто думали о своём.

Просто дурманяще пахла вишня,
я отвечал, как всегда, невпопад.
Просто всё это нечаянно вышло —
вряд ли тут кто-нибудь виноват.

Надо ль винить те глаза, что шире
неба и синие, как финифть?
Можно ли эти глаза большие
в чём-то когда-нибудь обвинить?

* * *

Бурлит вокруг людской поток —
режим обычный выходных...
Все объяснения потом,
нам совершенно не до них.

Зачем гадать, что впереди?
От мыслей пухнет голова.
Сегодня, видно, не найти
ненарушимые слова.

Прости меня, что я бегу
и ты, пожалуйста, не мсти
за то, что больше не могу
меня с покоем совместить.

И вот – обшарпанный вокзал,

и вот – на полке мой рюкзак...
Я, что не сказано, сказал,
ты это видела в глазах.

Разгонит ветер чесучу
туч над щербатою горой,
и то, о чём я промолчу,
осенней вспомнится порой.

Когда придавит нас мешком
мечта несбывшегося сна,
когда покажется смешной
воздушных замков крутизна.

Пусть это будет дань мечте,
шепни в ушедшие года
слова – единственные, те,
что не услышать никогда.

Батый в Рязани

Как дождь, копыта коней стучат,
закрыла солнце густая хмарь.
Протяжно охнув, умолк набат —
стрелой калёной сражен звонарь.

В руинах церковь, в глубоком рву
собаки трупы зубами рвут.
Как снега хлопья, — беззвучно, без-
участно — пепел летит с небес...

О Русь! Ты стрелы из сердца вынь!
Не скоро этот забыть охул:
виски полей серебрит ковыль —
совсем забыли они соху.

Смолистым ветром шумят костры,
в котле дымится бараний плов.
Под гребень копий мечом отстриг
хан много русских лихих голов.

Кривит улыбка надменный рот:
«Детей в огонь! Истребить весь род!
Оставить угли да пепел лишь...».

Но Русь восстанет из пепелищ!
Великий воин, батыр Бату,
развеет время твою мечту.
Среди развалин сквозь тлен и прах
пробыются острые пики трав,

и встанет город на трёх холмах —
прекрасен, строен и величав.

Скорей рассейся, ночная мгла,
чтоб мир услышал (он так озяб),
как дружно грянут колокола —
ликуя, плача, ещё грозя.

Бессмертна храбрость. Бессильна смерть,
когда, не зная других забот,
победно льется густая медь
потокотом шалым весенних вод.

* * *

Огней и бликов чехарда, стоянка – пять минут.
Но есть такие поезда, которые не ждут.
Они идут все дни в году, их график напряжён.
Чуть зазевался – на ходу уже не сесть в вагон.

Большой привет! Гремит состав, и остаёшься ты,
ещё совсем не осознав своей большой беды.
Беда! Пусть дни забот полны, ты проигрался в дым:
в тебе засел синдром вины перед собой самим.

Но эту жизнь ты выбрал сам, себе назначив суд.
Как будто жил ты по часам,
что вечно отстают.

* * *

— Останься!
Но поезд трогает, перроны бегут назад.
Не надо смотреть так строго: тебя выдают глаза.
Читаю я в них: «Ну что же уставился, как баран?
Еще не поздно, Сережа, в вагоне сорвать стоп-кран.

Ещё твой путь неопознан, он пройден всего на треть.
Ещё ничего не поздно — даже и умереть...».
А я, на подножке стоя, от смерти не жду вестей,
раздавленный пустотою бессмысленных скоростей.

* * *

В этом городе старом не сыщешь ты отчего дома —
там приём стеклотары, тебе не окажут приёма.
Всё здесь напрочь забыто, раздолье лишь ветру да веткам.
И крест-накрест забито окошко с наличником ветхим.

Не шумят домочадцы – лишь вкрадчивость осени лисья.
И на крышу садятся, как письма из прошлого, листья.
Но печали не нужно. Ты знаешь: не сбыться надежде,

в этом городе южном все будет иначе, чем прежде.

Ветер бронзой и медью посыплет по строгим аллеям.
В этот город мы едем,
чтоб стало понятно: взрослеем...

* * *

— Как имя твое, скажи мне?
— Но тут ни при чём слова —
тут голос задиры-грома,
апрельская синева,

капель, что дырявит вёдра,
оживший от спячки дом
и радостная собака,
виляющая хвостом.

И ночь. И вздыхают клёны,
друг друга нежно обвив...
Наречье лесов и ветра,
горячий язык любви.

* * *

Цвет измены жёлтый. Мальвы у порога.
Ты меня не встретишь? Не суди так строго.
Жил я, как придется, не имея дома, —
от аэродрома до аэродрома.

А теперь умчалась шалых дней орава...
Нет дурманней зелья, слаще нет отравы,
ничего нет лучше этой светлой доли —
быть с тобою вместе до последней боли.

* * *

Стрелял ты, но промазал — ты был плохой стрелок.
Ты целил в свою память, но получил счета.
Ты их вдвойне окупишь бессонницей тревог,
и все твои потери — тем первым не чета.

Тогда с откоса в речку ты камешки пулял,
лежал среди ромашек, вдыхал их аромат.
Теперь ты забываешь страну больших полян
среди полян асфальта у каменных громад.

Будь проклята разлука! И не поёт рожок.
Здесь магазин какой-то, торгующий бельём.
Зачем же эту память так сердце бережёт?
Зачем она? Всё было и поросло бельём.

И ночью от кошмара ты закричишь опять.
Преследует, как прежде, тебя твоя судьба.
И разве это можно — спокойно ночью спать?
И разве это можно, когда всему труба?

Волшебство

Он все на свете сделать мог —
заезжий фокусник из цирка.
Он превращал часы в цветок,
в бумаге исчезала дырка.

Конферансье бледнел, как мел,
в кармане находя касторку.
И я ладоней не жалел,
изнемогая от восторга.

Но меркли эти чудеса
на улице, где небо ало,
где, как тугие паруса,
афиши ветром раздувало.

Там, белой дымкой скрыв дома,
на клумбы и на кучи щебня
неслышно падала зима,
и не было её волшебней.

* * *

Шустрые ветры сдуют белую благодать...
Заново молодую дай мне тебя узнать!
Видеть сакрально-синий свет, когда в час весны
солнечной звонкой силой стебли опять полны.

Видеть, что вновь лазорев близкого неба край...
Слышишь: играет зорю юный сигнальщик май?!
Стань же опять другою, морем без берегов,
мир захлестнув пургою яблоневого снегов.

* * *

Бродил по городу чужак с посеребрённым чубом,
шел не спеша, любой пустяк ему казался чудом.
Глядел тот парень на закат, на леса гребень редкий,
где красногрудый музыкант усердствовал на ветке.

Боясь разбить, он в руки брал зимы стеклопосуду,
и проявление добра он чувствовал повсюду:
в карасьем профиле моста, в реке, пристывшей малость.
Как сахар в чае, доброта

в природе растворялась.

Девочка детства

Как случайный джекпот не моей лотереи,
как прилёт марсианина к нам на чай.
Я не верил глазам: постаревшая фея
вдруг возникла среди городской толчеи.

Мы стояли молчком. Ни к чему оправдания.
Да и что тут сказать, если столько мы врозь?!
Даже первопоследнее это свиданье
ожидать нам едва ли не вечность пришлось.

Мы выросли. Вселенная делалась шире.
Как-то путалось всё. Нету ясности — дым.
Мы спешили вырасти. Мы так долго спешили,
что уже по инерции дальше спешим.

Суедемся, живём рядом с трепетной тайной,
и, не зная о ней, длим впотьмах бытиё,
но совсем не случайно, совсем не случайно
мы встречаем далекое детство своё.

Воскрешая мгновенье из мрака забвенья,
просигналит оно на дороге большой,
что мечта твоя стала бесплотной тенью
той мечты, что когда-то владела душой.

* * *

Конус часовни. Слева – спутанных веток гривы.
Кладбище. Запах тлена. Склепы. Кресты. Могилы.
В этом покое вечном девочка в платье белом
весело и беспечно «классики» чертит мелом.

Ржавчина в прутьях сквера. Глупых синиц усердьё...
Как ты наивна, вера в собственное бессмертье!
Нам никуда не деться: обречены с рожденья.
Боже, продли нам детства сладкое наважденье!

Мир, когда в плеске ночи, необъяснимо светел,
счастье тебе пророчит
звёздный зелёный ветер.

* * *

Так же птицы осанну пели
изо всей своей птичьей силы.
Мир был молод, ещё Помпеи
мёртвым пеплом не заносило.

Ты спускалась лианой гибкой
в бездне времени – тихим всплеском...
Но доверчивую улыбку
навсегда сохранила фреска.

Платье — словно вчера надела,
та же легкая хмарь на небе...
Как ошибся я! Что наделал!
Двадцать с лишним веков здесь не был.

Юный ветер над миром реет,
он в музейные рвётся холлы...
Между нами, как пропасть, время,
беспредельный, безбрежный холод.

Словно я услышал случайно,
забывая, что жить мне мало,
эхо тысячелетней тайны,
что так долго не умирало.

* * *

Борису Полякову

Коммунальный оазис в пустыне асфальта...
Здесь в прохладе, сменившей полуденный зной,
извлекала игла из пластинки контральто
безнадёжно забытой певицы одной.

Молодела мелодия, и на паркете,
сняв обувку, стараясь из всех своих сил,
танцевали прилежно серьезные дети,
и товарищ мой гулко о чем-то басил.

Я смотрел на детей, на их робкий румянец,
позабыв, что совсем от жары изнемог,
и пленял меня их зажигательный танец,
что балетным канонам ответить не мог.

А певица все пела. И было мне жалко,
я боялся: неужто случится вот-вот —
скажет властно папаша, довольно, мол, жарко,
и священное действие навеки прервёт.

молил про себя: «Ну, еще хоть десяток,
только десять коротких секунд волшебства!»,
и планировал с неба весёлый десантник —
первый лист, и робела другая листва.

...Мы — как листья. Летим мы без автопилота.
Всех нас прочно забудут, настанет наш час.

Лишь бы танец листвы, лишь бы счастье полёта
повторились еще — это память о нас.

* * *

Птичий бесконечный полонез,
небеса с рассвета голубы...
Жил я неприкаянно, как лес,
не страшась превратностей судьбы.

А теперь, забыв, что одинок,
я давлю слезливый серый снег.
Отчего же раньше я не мог
радоваться ветру и весне?

Вот стою, гляжу на призрак-сад,
в плен попав его костлявых рук.
В этом март, как видно, виноват —
взбаламутит вечно всё вокруг...

Светлая песня эта...

* * *

Это — снова первосанье, это — древний город Псков.
Это — лёгкое касанье снежно-белых лепестков.
Это – вечное кружение ослепляющих снегов.
Это – словно постижение главной истины. Всего.

И такая радость всюду, что улыбка — в пол-лица,
словно кто-то выдал ссуду
мне на счастье без конца.

* * *

Вновь в бревенчатый накат
бьют дождинки вразнокап.
Точно плотничья артель,
заработала капель.

Тюк да тюк, тюк да тюк —
так стучат наперестук,
грациозны и легки,
молодые молотки.

Тюк да тюк — травам в рост.
Скоро май — месяц гроз.

.

* * *

Ветер выл всю ночь несыто,
и проснулся город утром,
будто леденец засыпан

белой сахарною пудрой.

Как легко теперь на свете!
Сколько ласки в каждом жесте!
День прозрачен, тих и светел,
по-особому торжествен.

Кружева вокруг, вязанье.
И звучит, как шум прибоя,
это древнее сказанье —
песнопенье снеговое.

* * *

Сентябрь ещё не отлучал тепло.
Он слух ласкал привычным птичьим гамом.
Но в полночь листья начисто смело
внезапно налетевшим ураганом.

Я утром вышел. Удивленья крик
сдавил мне грудь среди деревьев сада,
поскольку мир был весело открыт
для моего и для любого взгляда.

Я брёл, не узнавая ничего.
Мир стал другим. Тот, прежний, вмиг растаял.
Таилась неразгаданность его
за многоточьем журавлиной стаи.

Письмо из Пятигорска

Снег. Январский воздух горный, свет луны прозрачно-бел.
Вновь Бештау пятигорбый шапку белую надел.
Я везу тебе гостинец – образцы тревожных снов,
одинокость гостиниц, тусклый отсвет ночников,

серебро замерзшей рощи и костра холодный дым...
Дирижирую порошей и безмолвием ночным.
Пусть звучит светло, как прежде, из продутой стужей тьмы
тихий гимн моей надежде
в исполнении зимы.

Александр Грин

Он худ, глаза его запали.
Они – как фитилёк в запале:
миг — и рванёт. Всего лишь миг.
«Гриневский Александр Степаныч?
Случайно ль вы не польский паныч?»
«Ха-ха! Ну, вахмистр, ну шутник!»

Жандармы ржут. Дрожат монокли.

От напряженья шеи взмокли.
«Дозвольте вас предупредить:
нельзя играть с законом в прятки.
Вы, вроде, проживали в Вятке?
Теперь где думаете жить?»

Молчит...
В тюрьме сырой и тесной,
неудержим, как дух протеста,
бессвязный, как тифозный бред,
витают призраки бестелесные —
давным-давно уже известный
один-единственный ответ.

Над морем и над леса гущей
корветом, по волнам бегущим,
скользит он гладью голубой.
И ясно вновь: всего дороже
быть непохожим, непохожим,
а это значит, быть собой!

Вот дерево напротив окон.
Оно безмерно одиноко,
и, одинок, горит фонарь.
И ты один себе хозяин,
и совершенно осязаем
свет звёзд, прозрачный, как янтарь.

* * *

Вот и угасло лето, только грустить не надо:
слушайте песни леса, музыку листопада.
Пусть застывают смолы, пусть зазвучит на вербах
звонкое птичье соло в сопровождение ветра.

Звонкая песня эта. Лес, как турецкий рынок.
Слышишь, поют кларнеты, флейты и окарины?
Лист приземлится грузно, шишки ударят оземь...
Это совсем не грустно, если настала осень.

Эй, трубачи, за дело, чтоб, догоняя лето,
вновь над землей летела
светлая песня эта!

* * *

Белый квадрат стены,
эхо минувших снов.
Желтым серпом луны
скошен недели сноп.

Ходиков мерен ход,
спит опустевший дом.
Самый несчастный тот,
кто одинок вдвоем.

* * *

Осень, осень, жёлтые глаза.
Занавес опустит листопад.
Лето пролетело, словно дым,
но такая в небе бирюза,
но такой прозрачный этот сад,
что нельзя не любоваться им.

Посмотри. Не надо уходить.
Помни это летом и весной:
желтые от листьев небеса,
паутины выющаяся нить
и леса в накидке расписной.

Осень, осень, жёлтые глаза.

* * *

Зима готовится к броску.
Чернеет поредевший сад.
Ты погаси мою тоску,
маэстро неба, снегопад!

Чтоб эта музыка без слов,
небес безгрешное дитя,
плыла из белых облаков,
как шёлк, прохладно шелестя.

* * *

Куда же вы, птицы? Зачем вы срываетесь с крыши
и с веток иссохших осеннего зябкого сада,
когда уже поздно, и мягко крадется по-рысьи
по листьям опавшим вечерняя мгла и прохлада?

Куда же вы, птицы? Какая такая забота
вас гонит из дупел, из гнезд под высоким карнизом?
Вы ходите плохо. Вы созданы лишь для полёта,
для горного ветра, что светом и волей пронизан.

Мы тоже такие. Такое же общее свойство
мы с вами имеем: не надо нам тесного рая —
в путь снова зовет нестареющий дух беспокойства.
Ты нас излечи, ощущение простора без края!

.

* * *

На колпаке шута звенели бубенцы.
Кривлялся он и пел — уродство не помеха.
И, как кули с мукой, вельможи и купцы
валились под столы и корчились от смеха.

А шут торжествовал. Он знал прекрасно роль.
Смотрел, разинув рот, слуга, не поняв толком,
кто шут, а кто король. Не знал и сам король.
Смеялся он — и всё. Смеялся он — и только.

* * *

Не чувствуя с миром разлада,
ты жил, никогда не скуля,
но мир вдруг становится адом —
и всё начинаешь с нуля.

И день тот обрадует летний,
и не возмущает, когда
шуршат по-мышинному сплетни —
теперь от них мало вреда.

И вовсе не надо разборок.
Ты лишь бескорыстия ждёшь
от той, нет дороже которой,
совсем не способной на ложь.

* * *

Возможно, это — только давний сон...
Мы день на полуслове обрываем.
Наш дом — как остров. Он необитаем,
поскольку был давно уже снесён.

Но мы придём сюда, устав от слов,
от спешки, жизнью вызванной шальнойю,
чтоб надышаться тёплой тишиною,
что притаилась, словно птицелов.

Тот год ещё не предвещал потерь,
не думалось, что рушатся стропила.
И всё тогда куда понятней было,
и всё открыто, как входная дверь.

Не знали мы, что станет всё чужим,
что нас настигнет камнепад печалей,
и мы молчали, мы тогда молчали,
поскольку мир молчаньем постижим.

И тишина не пряталась ничуть,
утопленная в то сырое лето,

хоть дождь шумел... Но значит ли все это,
что в шуме скрыта истинная суть?

Нет, сути нам с тобой не миновать:
уже давно преследует нас тенью
молчанье, что несёт нам облегченье, —
молчанье, не умеющее лгать.

Горькие, осенние, жёлтые цветы...

* * *

Готический город,
минор в моей жизненной гамме,
твой воздух был горек,
как хлеб, разделенный с врагами.

Ты мне опостылел,
как постные завтраки в школе.
Меня твои шпили
к досье на меня подкололи.

Я жил как вслепую,
а ты блефовал, как мошенник,
и сплетни, как пули,
искали меня для мишени.

Здесь были чужими
дома, даже клумбы с цветами.
Здесь в странном режиме
будильники время считали.

Кого не касалось,
те всё понимали превратно.
А мне всё казалось:
часы повернули обратно.

Изгибом лекала
менялась у времени внешность.
Как будто бы мчало
оно меня в прошлую вечность.

Но всё! Не губи мой
остаток надежд на иное.
Прощай, нелюбимый,
ты будешь моею виною.

Забывать обещаю
я жизнь эту, как наважденье.
Тебя я прощаю,

а мне — мне не будет прощенья.

* * *

Журавли подают сигнал. Завтра, видно, дождик польёт.
Навсегда, прошу, навсегда ты запомни этот полёт!
Этот сумрак, что загустел, по уступам сырым скользя,
эту грусть расставанья с тем, что уже повторить нельзя.

Будет тихая смена дней, будет мир все так же велик,
но становится он бедней
на один журавлиный крик.

* * *

Молчанье призрачных высот...
В нём столько горького укора.
И сердце холод обдаёт
непостижимого простора.

Желтком яичницы – закат,
но с ним не радует свиданье:
как будто в том я виноват,
что ждёт Земля похолодания,

что ветер выстудил жильё,
перечеркнув все краски тушью.
Не равнодушие ль моё
в ответ рождает равнодушие?

* * *

Всё смешалось, всё давно смешалось,
всё я в кучу общую свалил —
даже эту мелочную жалость
по словам несказанным своим.

Поменяю шило я на мыло,
будет жизнь — один сплошной вокзал.
Отчего, когда ты говорила,
я тебе ни слова не сказал?

Может, всё б не кончилось разладом?
А теперь ты, в общем-то, права:
ничего жалеть уже не надо,
только эти хмурые слова.

* * *

Пожилая, вся в чёрном, актриса,
ты теперь уже трижды вдова.
Балериною в день бенефиса
отрешённо порхает листва.

Жёлтый день. Чья-то скучная жалость.
Ручеек обесцвеченных слов.
Что теперь? Никого не осталось —
ни детей, ни друзей, ни врагов.

.
* * *

Ночь, как агат, черна, нет ни огня.
Ты у меня одна, ты у меня.
Сколько прощала мне горьких обид...
Вижу, как ты в окне плачешь навзрыд.

Вижу сквозь гущу лет твой силуэт,
но возвращенья нет
в то, чего нет.

* * *

Кресалом поздних туч октябрь зарницу высек,
равнины и холмы струей дождя омыв.
И ветер, как орган, звучит в погасших высях
посланником снегов, предвестником зимы.

И этот тихий звук — слабеющий, покорный,
как лист последний, вниз, из сумрака времен
планирует впотьмах на мягкий мох, на корни.
Крик раненой звезды.
Сиротский тихий стон.

* * *

В большой пустой квартире,
за спинки стульев взявшись
(не топят котельные, все батареи — лёд),
произнесём вдруг страшные, беззвучные, озябшие
слова, и их значение до сердца не дойдёт.

Как быстро все меняется! Во все души излучины
слова втекали радостью, и каждый верил им.
Стоим. Слегка растерянно. Но, вероятно, к лучшему,
что всё не так случается, как мы того хотим.

Так холодно на улице! Весна — вот удивительно.
Откуда-то из Арктики пришел антициклон.
Но не питай иллюзии: закончен отопительный,
да вот теперь закончился и наш с тобой сезон.

И не ищи тут логики. Осмысливать — излишнее.
С бедой мы расквитаемся, но вот какой ценой?
Разгадка в том, что знали мы, что знали только личное,
увы, местоимение из буквы из одной.

Почувствуем, наверное, как время это тянется,
и пусть порой по-первости не обойтись без слёз,
давай хоть для приличия с достоинством расстанемся,
давай с тобой придумаем, что виноват мороз.

* * *

Пора эта скоро нагрянет,
надежно прилепит она
дождя языками багрянец,
как марку, к конверту окна.

Осенняя авиапочта
расскажет, что лес поредел,
но надо ль грустить оттого, что
все в мире имеет предел?

Природа не просит прощенья
у листьев, что мчатся гурьбой.
Не в том ли секрет обновления,
что жертвовать надо собой?

* * *

Вспыхнет яркий фонарь над пролетом моста,
и опять темнота обнимает восток.
Бестолковая жизнь. Суета. Маета.
Только время шумит, словно горный поток.

Только время... Его непонятен нам ход:
зазевался – уже никогда не настичь.
Так охотник в засаде, невидимый, ждёт,
но прицелится – с места срывается дичь.

А вокруг – тишины голубое сукно.
Спит в берданке клубочком свернувшийся гром.
И уже не догнать, и уже всё равно,
если ты опоздал, что случится потом.

.

* * *

В сарае пахло кизяком,
а всё вокруг цвело и пело.
Не в силах шевельнуть хвостом,
он помирал — пора приспела.

Гудела в жёлобе вода.
Мир шумно жил, вращался плавно.
И словно лилия, на плавни
спускалась белая звезда.

И было страшно помирать,
и было уходить нелепо,
когда вокруг такое лето,
когда такая благодать.

Лермонтов в Пятигорске

Мохнатою тучей сокрыт Эльборус,
сливаются дождь и целебные воды.
Да здравствует этот священный союз —
союз вдохновения и непогоды!

Блаженство и муку, любовь и тоску
вбирает тот миг, что сомкнется, как омут,
когда не вмещается слово в строку
и тут же становится голосом грома.

Обнять бы весь мир, что безбрежно велик,
рожденный из пламени, ветра и хмари,
когда открывается истины лик
в лиловом мерцании пляшущих марев!

Обнять бы все эти деревья в цвету,
все молнии мая, все весны и зимы,
чтоб выразить дивную ту красоту,
которая, в общем-то, невыразима!

И — всё. Нет желаний других. Лишь одно.
Лишь только тумана цветастые шали,
да крупные капли, что моют окно,
как слёзы утраты, как слёзы печали.

.
* * *

Мчат трамваи с горочки, огибая сад...
Обжигает горечью твой нездешний взгляд.
Постоим под вербами. В общем, ты права:
раньше мы не верили в горькие слова.

Раньше и не думали мы о них всерьез,
а теперь их сдунуло, как листву с берез.
Поздно. Воскресение. Развели мосты...
Горькие, осенние, желтые цветы.

Какая логика нужна, чтоб сердцу объяснить всё это?..

* * *

Треугольник. Как в дешёвой драме.
Я в ней просто некий аноним.
Тот, другой, спешит к тебе с цветами,
ну а ты спешишь расстаться с ним.

Но пойми: он – вовсе не обманщик.
Без тебя не проживет и дня.
Отчего не выбрала ты раньше?
Отчего ты выбрала меня?

Тот, другой... Он выглядит неплохо —
до него мне словно до луны:
точно пень, я обрастаю мохом
с северной холодной стороны.

Не считай, что это чьи-то козни —
будущее скрыто пеленой.
С каждым днем я становлюсь несносней,
как старик, капризный и больной.

Будет без меня совсем вольготно,
увезет тебя к нему трамвай...
Ты его не знаешь подноготной,
лучше никогда не узнавай.

* * *

Я соврал, что к тебе заглянул по пути —
битый час под дождем сиротливо я мок,
и к тебе я прощаться пришел, ты прости,
не сердись, но иначе я просто не мог.

Я, остриженный наголо, кепочку снял
(парикмахер меня округлил в акkurat),
но смотрела ты в сторону, мимо меня,
и спокойным был твой
невнимательный взгляд.

Твои губы...
Зачем они так холодны?
На лице твоём бледность от частых ангин...
И, наверно, ты знала давно, что должны
мы расстаться вот так – ни друзья, ни враги.

Я молчал. Да и ты промолчала в ответ,
отвернувшись. Я хмур был, обижен и зол.
А когда уходил, ты смотрела мне вслед,
удивляясь тому, что к тебе я пришёл.

* * *

Вот скажи теперь: на шута,
в то мгновенье, когда не ждешь,
мне слова твои нашептал
шифровальщик-дождь?

И проник сюда без помех,
я его совсем не искал —
твой далекий несмелый смех,
льдинка так звенит о бокал.

И твой голос – он вдруг поник,
точно мак, – ему не ожить.
И сменяется смех на крик,
на обиды твоей ножи.

А теперь и обид тех нет,
память высохла, как горбыль.
И не дождь уже – только снег,
только ветер несёт судьбы.

Ждал тебя на свою беду,
будто лучик звезды, но лишь
ты похожа тем на звезду,
что ночью горишь.

Мария Стюарт

1.
Дабы исполнить царственный каприз,
придворный плотник ночью портил зренье.
Как кость собака, он мундштук изгрыз
над чертежами странного строенья.

Он подмастерью метил в зубы, лют,
кряхтел, обильным потом обливался
не для того, чтоб всякий темный люд
работою его полюбовался.

Неласковый морщинистый старик,
сменивший аркебузу на рубанок,
он эшафот как памятник воздвиг —
во славу сановитых интриганок.

Он, как другие, в эту ночь не ждал,
что до утра погаснет пламя гнева:
нет ничего ужасней, чем вражда
завистниц, если обе — королевы!

2.
И час настал. И вздрогнула земля.
Заря взошла над замком и пекарней.
Нет месяца промозглей февраля
в Британии, нет месяца коварней.

Ещё листва не облетела с лип,
и узница стояла в платье чёрном
и слушала ступеней грузный скрип,
что умножался эхом коридорным.

Крутнулся ключ в заржавленном замке,
и, счет шагов заканчивая краткий,
она брела, зажав в своей руке
багряный лист, подобранный украдкой.

И этот ветром сорванный листок,
что, дымом став, с Путем сольется Млечным,
ей озлобленье побороть помог
и жаркий страх перед безмолвьем вечным.

И в ту секунду, позабыв про гнев,
как забывают о природе риска,
одна из всех на свете королев,
она народу поклонилась низко.

И так прекрасен был души порыв,
и чувство это было так безбрежно,
что, голову на плаху опустив,
она внезапно улыбнулась нежно.

А для другой, не отводившей взор,
похожей на старушку-белошвею,
была улыбка эта, как топор,
который рубит собственную шею.

* * *

Откуда я всё это знал? Ведь был я не пророк.
Откуда, из какого сна я это всё извлёк?
А это и не сон уже, а так – сплошной обман,
и сверху белое драже швыряет в нас зима.

Обман надёжно скрыт в словах, он – мутная вода...
Я что-то навсегда сломал, не верилось когда.
Обман – как душный сеновал, а явь – простор мечтам,
когда, как речка, синева в глаза впадала нам.

Но всё пошло вперекувыр, всё стало вдруг не то,
ведь в чём был тот обман, увы, не знал из нас никто.
Нет, я нисколько не позёр, но тут такой загиб,
что лучше пережить позор, ведь мы теперь – враги.

Враги... Я этому не рад, но это не сказал.
Враги, когда отводим взгляд, чтоб не глядеть в глаза.
Враги – когда прощенья ждешь, но мир недостижим.

Враги – когда мы верим в ложь, а правду говорим.

* * *

У разрушенного здания,
где крапивы урожай,
я промямлил: «До свидания»,
не сказал тогда: «Прощай!».

Паренек смазливой внешности,
я не знал, что не смогу
стать заложником у вечности,
быть всегда у ней в долгу.

* * *

Увезу тебя в лето, но это сосем не блицкриг.
Время – опытный лекарь, оно тебя вылечит вмиг.
Здесь колючие ости беды, что махрово цвела,
здесь январь расчехвостил остатки бывшего тепла.

Здесь коростую лепры покрыты сугробы души...
Увезу тебя в лето от лютых морозов-душил.
Здесь противно и тошно и вольная жизнь на кону.
Увезу тебя в то, что не снилось еще никому.

Я хвалиться не стану, и ты не одобришь меня:
тут звучит беспрестанно мелодия летнего дня.
Это вовсе не лишне, не сон это вовсе, а явь...
Ну, а если не слышно, в наушниках громкость прибавь.

* * *

Конечно, мы её не ждём, и пояс не затянем туже.
Когда беда приходит в дом, то это наводненья хуже.
И что-то схватывает грудь, радикулит какой-то шейный...
И невозможно обмануть себя словами утешенья.

Какого же теперь рожна опять не сплю я до рассвета?
Какая логика нужна,
чтоб сердцу объяснить всё это?

Эта степь ровна, как доска...

Осенний призыв

Этот поезд летит, словно крик, что сорвался с откоса
вместе с гаснущим эхом, и вовсе неведомо нам,
что с ликующим лязгом его проезжают колёса
по клубничной душе, оставляя уродливый шрам.

Будет время, которым не надо, наверно, гордиться
и не надо ссылаться на этот неправильный год,

потому что свободны лишь облако в небе, да птицы,
если только стихия парение их не прервёт.

Не спасут ордена и наличие царственных лысин,
седина на висках — вряд ли что-нибудь выручит нас
от ухабов судьбы каждый в степени равной зависим:
есть закон тяготенья, закон притяжения масс.

За окном тополя оскелетил прожорливый хищник,
что зовут ноябрём, полузимник морозит уже,
и последний привет от тепла так коварно похищен,
что уже всё равно, что случится на том вираже.

* * *

Зелёные, в охру ныряют вагоны,
слегка на пригорке замедлив свой гон.
Ну, вот и отлично. Уже не догонишь,
хоть сел я — ты знаешь — в последний вагон.

Но ты не простила. Любовь пролетела.
Навряд ли себя понимали самих
в ту осень с тобой мы. И нет тебе дела
до тамбурных этих бессонниц моих.

И только тревога над кронами сосен,
срываясь последним промокшим листом,
преследует поезд. Как ветер. Как осень.
И кто его знает, что будет потом.

* * *

На гражданке еще продолжается лето,
на цветах стынут капли прозрачных росинок.
Здесь песок да такыры. И, кажется, нету
ощущенья того, что ты связан с Россией.

Дни — тяжелые камни, что бухают оземь.
Служба в армии — жечь, врут Кобзон и Ошанин.
Принесло это лето холодную осень, —
невеселую осень коротких прощаний.

Мы искали друг друга, расстались нелепо,
в подворотнях булыжных извилистых улиц...
Ну да ладно, пускай не вернётся то лето,
пусть вернется не к нам — к нам надежды вернулись.

* * *

Четвёртый месяц, четвёртый месяц
скучаем мы без осин и липок.
Четвёртый месяц подошвы месят

суглинок – он, как замазка, липок,

Как знамя, ветер над степью реет.
Мы вспоминаем гораздо реже
про откровенья друзей-деревьев,
про шелест трав и калитки скрежет.

Взвод засыпает. Спокойны лица,
а завтра – стрельбы и марши снова.
Пусть душной ночью опять приснится
целебный сумрак лесов сосновых.

Письмо домой

Я понял: мы повзрослели ровно на эту степь,
на выюжный ее порядок и майский ее бедлам,
на этот тяжелый ветер,
что бьет сильнее, чем кастет,
на эти луны ладони, что гладят нас по ночам.

Песок проникает всюду, как марганцовка бур.
Его обнимает вечность —
серей, чем расплав свинца.
И времени не хватает посетовать на судьбу.
Спасибо, что было трудно.
Мы выдержим. До конца.

* * *

Я от зноя звенящего слеп,
от безводья, как дерево, чах.
Как в духовке поджаренный хлеб,
под ногами хрустел солончак.

Солнца свет краски яркие стёр:
видел я только облачный дым,
да немыслимый желтый простор,
охраняемым ветром одним.

Я ложился, безмерно устав,
к саксаулу, что медленно сох,
и учился терпенью у трав,
пробивающих ржавый песок.

То терпенье я долго копил,
чтоб пройти буераки и рвы —
ведь у всех нас немеряно сил,
как у той безымянной травы.

Запевала

Меня ничуть не забавляло —

я интервал держал в строю, —
когда наш ротный запевала
работу начинал свою.

Рязанский парень здоровенный,
во цвете сил, во цвете лет,
он гаркал так проникновенно,
что зябко вздрагивал сосед.

Серьёзное не зная дела,
он был, мелодией влеком,
сосредоточен до предела,
как рекордсмен перед прыжком.

Во власти этого порыва
не замечал наш первый взвод,
как открывался некрасиво
его широкогубый рот.

И как-то не хватало духу
признать, хотя и был резон,
что, в общем, абсолютным слухом
он был, увы, не наделён.

Взлетала песня в поднебесье
и заглушала в сердце грусть.
И эту строевую песню
вся рота знала наизусть.

Наказ дембелям

Кому – чемодан, а кому... Наше время кемарит.
Ещё нам три года носить сапоги и шинели.
– Привет передайте деревьям, траве и... Тамаре —
девчонке, глаза у которой апрелем синели.

Что скажет она? Ну, об этом, наверно, отдельно.
Забот у неё... Надо зонтик забрать из починки,
поскольку дожди... А здесь так не хватает дождей нам,
в пустыне, где ветер никак не сочтет все песчинки!

Мы тоже уедем. И пусть это будет нескоро,
тем радостней встреча. Собаки охрипнут от лая.
И девочка эта посмотрит и скажет с укором:
«Ну, знаешь, так долго еще никого не ждала я».

* * *

Это ночь летит над тобой, звезды дымом опеленав.
Это ветер пахнул травой, что, как рысий глаз, зелена.
Слушай птичью робкую трель. Листья первым дождем омыв,

вновь неистовствует апрель, как в большом бурдюке кумыс.

Будут ветки хлестать лицо, ветер встретишь в пути своём —
самым быстрым из жеребцов не догнать его нипочём.

Лишь одна голубая стынь, лишь простор неземных высот...

Ароматнее спелых дынь
будет ветер полынный тот.

Колыбельная рядовому запаса

Ты дома. Всё чин по чину.

Ложишься в постель. Отбой!

Спи, мальчик! Ты был мужчиной,
побудь же теперь собой.

Пусть тебе реже снится,
как месяц тому назад
огромной хвостатой птицей
летел над тобой закат.

Там день наполнялся зноем,
сражающим наповал,
который ещё весною
все травы испепелял.

Но в местности той пустынной
растут теперь деревца...
Спи, мальчик! Ты был мужчиной,
останься им до конца.

* * *

Эта степь ровна, как доска:
ни юрты, ни кустика, ни леска,
лишь только на спинах горячих скал
ветер покачивает облака.

Мы в крае ином родились, росли,
и вот по пустыне идём, пыля.
Нетуж страшнее этой земли,
но это всё-таки наша земля.

Вся в шрамах, вся в трещинах рваных ран,
такыры, колючки и ковыли...
Призывно свистит на юру варан —
всесильный хозяин этой земли.

И мы охраняем её покой,
и эта земля, как приёмная мать,
тянется к нам саксаульей рукой,
словно пытаясь обнять...

У каждого есть свой собственный дом, а у него – степь...

* * *

Тот барак именовался: «Баня»,
но обман всё это на обмане:
нечем вовсе отмывать салаг —
мы ещё тогда совсем не знали,
что вода здесь только привозная,
что она – любых дороже благ.

Мы не знали то, что с нею тяжело,
что её положено полфляжки
и что пахнет хлоркою она,
что мы будем жить зимой в палатке,
а с зимы, известно, взятки гладки:
нет тепла – то не её вина.

Нам не отогреться до июля,
когда мухи носятся, как пули,
когда пот стекает в сапоги,
но тогда внезапно станет ясно,
почему так в мире всё контрастно:
потому, что мы ему – враги.

Но враги ли? По большому счёту,
мы его не посылали к чёрту,
и совсем не замыслили мечь.
Да, он запрещает самостийность,
но, проверив нас на совместимость
он признал: она как будто есть.

Я ему признателен за это:
за испепеляющее лето,
что в буран не видно ничего,
что в степном и вьюжном Казахстане
мы однажды все, наверно, станем,
пусть слегка – похожи на него.

* * *

Здесь в мае ещё зелена трава,
прячут над ней высоко орлы.
Как будто мельничьи жернова,
крылья их тяжелы.

Древние русла высохших рек.
Сокровищ любых здесь дороже вода...
Но однажды сюда пришёл человек
и остался здесь навсегда.

Он землю пахал и скот свой пас,
задумывал тысячу тысяч дел.
И был у него слегка узок глаз
оттого, что на солнце, щурясь, глядел.

Он шел, как будто кем-то ведом,
следов на песке оставалась цепь.
У каждого есть свой собственный дом,
а у него – степь.

Она для него – сестра и мать,
и он, даря ей тепло своё,
с полуслова может её понимать,
с полуветра – голос её.

* * *

Тот край давно рассадник ишемий —
вмиг захворает, если ты неловок.
Застыла степь в объятьях тишины
лисою, что в охоте на полёвок.

Открыт ветрам чернеющий угор,
простор ошеломительный, бескрайный.
Пусть этот мир, как нищий, рван и гол —
не в этом ли естественность и тайна?

Здесь столько дней расплущено зазря,
на времени безумной наковальне.
Окраина. Бесплодная земля,
а вместе с тем загадка вековая.

Здесь выцвела небес голубизна
и, говорят, недалеко от ада.
Я здесь, признаться, даже и не знал,
что выжить можно, если очень надо.

* * *

Во все стороны разлеглась
степь – вместить её взгляд не мог, —
и такая густая грязь,
что нельзя отодрать сапог.

И такая в ней скрыта грусть,
что она, сердца бередя,
маринуется, словно груздь,
в маринаде крутом дождя.

Ни фундамента нет, ни стен,

но постройки здесь не нужны,
словно эта пустая степь —
исправление кривизны.

Жажда

Привозная вода – по полфляжки на брата,
отдаёт керосином... Дела здесь такие.
Ключевую – её хоть в пригоршню набрать бы,
только нет здесь ключей — солончак да такыры.

Солнце вытопит сок из колючки верблюжьей,
как ковыль, от палящего зноя шатает.
Вроде некуда дальше. Что может быть хуже?
Но похуже — песчаные ветры-шайтаны.

Замотаю лицо. Я нисколько не струшу,
если воздуха нет, если я умираю,
когда словно гвоздями царапает душу
этот жёлтый песок без конца и без края.

Сколько пройдено тут – в свой расчёт не бери ты:
я вернуться живым совершенно не чаял.
Сколько надо ещё мне плутать лабиринтом,
лабиринтом судьбы, возвращаясь в начало?

Но мне верится: счастья найду я подкову,
хоть и мучаюсь я, как без вылета птица,
этой вечною жаждой чего-то такого,
что должно обязательно в жизни случиться.

И растает тревога расплывами воска,
и в цивилинную койку однажды я лягу...
Где же ты задержалась в пути, водовозка,
с исцеляющей душу живительной влагой?

* * *

Раздвину времени я поля,
чтоб вновь испытать восторг.
Ромашковой головой полян
уткнётся мне в грудь простор.

Ковыль, типчак и гусиный лук —
я это всё постигал.
Летит, чаграва*, как тузлук,
ленивая пустельга.

И этот воздух — упругий, как
сайгачий большой прыжок,
и толстый вылинявший байбак

чего-то ждёт, напряжён...

Чего хочу я? Да лишь того,
чтобы не видеть крыш,
чтобы со всех четырех сторон
мир был, словно степь, открыт.

Чтобы я музыкой той дышал,
где не слышать гудки,
чтобы летела моя душа
с ветром вперегонки.
* Чагравая – бурая.

Саксаул

Не верилось мне, что была изощрённая месть —
нелепый расклад обернулся совсем не прогулкой.
Я спички жевал, потому что хотелось мне есть,
хотелось курить, да вот не было даже окурка.

Я шёл за водой, только я заблудился в степи,
глазел не туда, а смотреть было нужно мне в оба.
И вот я сижу, непослушные руки сцепив,
проявлен на солнце как будто туркменская вобла.

Чуток отдохну и продолжу безумный загул.
Я выжить хочу – цель теперь я свою обозначу.
Но что это? Чудо! Здесь чёрный растёт саксаул,
а это – спасенье, единственный шанс на удачу.

И ветки его мне не кажутся вовсе горьки —
верблюды их смакует, как будто жуёт ананасы.
И вроде уже не совсем от меня далеки
забытые люди и даже дорожная насыпь.

Прощай, мой спаситель, прощай, саксауловый куст,
и эти ветра, что всегда налетают кагалом.
Простите, друзья, что бидон мой по-прежнему пуст,
зато я обрёл ту уверенность, что не хватало.

Быть может, в том, что нахожусь я здесь, и есть секрет непрочного покоя?

* * *

Можно, наверно, сойти с ума, если тот час настал,
если вокруг ветров кутерьма, Северный Казахстан.
Степь та в белёсой траве мертва, ждёт, как сурка питон.
Здесь бы напиться воды сперва, а умереть – потом.

Глаз устаёт. Тут простор сквозной. Солнце не может сесть.
Здесь до серёдки прожарит зной, если серёдка есть.

Здесь я осунулся, одичал... Дело, наверно в том,
что, как тифозник, степь по ночам дышит горячим ртом.

Скулы ей судорогой свело. Это – какой-то шок.
Ей, как и нам с тобой, тяжело, превозмогать ожог.
Всё измолотит своим цепом лютых ветров отряд.
Этот свирепый антициклон люди не победят.

И не покажется вовсе – нет! – вялотекущим сном
этот совсем настоящий бред,
этот жары дурдом.

* * *

Была ноябрь склерозная слизь,
и мне казалось тогда,
что дни в сплошную метель слились,
и небо скрыла вода.

Травил меня, как какой-то яд,
казарменный нищий быт.
Где небо, в которое кинешь взгляд,
и будешь тем небом сыт?

Где этот зелёный лепет лесов,
что сердце когда-то грел?
Закрыто всё на глухой засов,
утоплено в сизой мгле.

И выхода нет, однозначно нет,
и снова тоска томит,
и взгляд застревает в мёрзлой спине
облачных пирамид...

Но завтра всё станет совсем иным:
исчезнет куда-то сор,
и я увижу не облачный дым,
а свой незабытый сон.

И степь предстанет совсем другой,
станет добрее вдруг.
Я здесь теперь совсем не изгой,
я – её первый друг.

И когда вновь случится весна,
когда холодам отруб,
то прикоснется ко мне она
маками тёплых губ.

* * *

Ветер, как сыщик, рыскал низких глухих басов
в зарослях тамариска, сдерживавших песок.
Не выносящий тени, рос из последних сил
южный двойник сирени (здесь его звать дженгил).

Но в той бескрайней шири, там, где недель бурда,
происходило в мире то же, что и всегда.
Ястреб – лишь он не дремлет. юрких мышей гнобя...
Я, как дженгил, всё время сдерживаю себя.

Жду под белёсым небом, чтоб мои сбылись сны
в сне, что овеет снегом
святочной белизны.

* * *

В палатке вьюгу я стерпел и онемел, когда я выжил:
глаза тюльпанные степей раскрылись по команде свыше.
Ещё местами снег лежал, и лету не было резона,
но душу резал без ножа тот алый свет – до горизонта.

За что я это заслужил? Я только без году неделя.
Я был всего лишь пассажир на мокрой палубе апреля.
И жаркий солнечный огонь в минуту осушал болотца...
Я ждал мгновения того, когда та кровь в мою вольётся.

Мне это запрещал главком, но я не внял его веленьям.
Не подчинился. Стал цветком.
Я в самоволке опыленья.

* * *

Опять тошнотный этот день,
нельзя нигде охолонуть.
Жара, как в преисподней, где
от зноя закипает ртуть.

Палатка — душный саркофаг,
и дело в том, и дело в том,
что солнце здесь не друг, а враг,
который вялит нас живьём.

Но это солнечное бра
не заслужило бранных слов:
чтобы постигнуть суть добра,
знать надо, что такое зло.

Оно коварно, как шайтан,
само себя не тратит зря.
Оно таится где-то там —
за равнодушьем сентября.

В степи, что плоская, как плот,
оно, как медный купорос,
мгновенно вытравит тепло
в сорокоградусный мороз.

И, костенея на ветру,
я думаю, что дьявол с ним,
мне всё равно, ведь я помру,
не путая одно с другим.

ШАХТНЫЙ ВАРИАНТ

Здесь ветер роет землю, как кетмень,
закат алеет в небе тёмно-буром.
До Тюратама — тысяча кэмэ,
его зовут пока не Байконуром.

Но в небе шлейф из разноцветных лент,
и здесь не стой, не разевай жевало:
ведь каждый пуск ракеты — это след,
кровавый шрам, и он не заживает.

И ничего хорошего не жди
(не потому ли тянет так на север?) —
опять пойдут кислотные дожди,
и здесь мы как-то рано полысеем.

Но мы ещё всех не постигли тайн,
ещё в святом неведение парим мы.
Нацелены ракеты на Китай,
который стал врагом непримиримым.

Да, за Даманский так болит душа,
но рядом смерть, так много смерти рядом:
упрятаны во мглу глубоких шахт
боеголовки с ядерным зарядом.

Зачем я здесь, страны своей солдат?
Зачем я в завтра не гляжу со страхом?
Неужто снова возвратится ад
и всё погибнет, станет жалким прахом?

Но я живу. Пока ещё я есть.
И я не маюсь смертной тоскою.
Быть может, то, что нахожусь я здесь,
и есть залог непрочного покоя?

* * *

В степи, что никогда не знала леса,
я шёл вторые сутки наугад,
не понимая вовсе ни бельмеса,
о чём мне по-казахски говорят.

А я просил мне показать дорогу
к ракетной части — не поймут никак,
но был обед, и чемергеса* много,

а на закуску — сочный бешбармак.

И суть не в том, что нет дороги торной,
что жизнь пошла — сплошной адреналин.
Нет в мире одиночества просторней,
страшнее, если ты в степи один.

И надо просто радоваться маю,
что будет после, будет миражом,
ведь я теперь прекрасно понимаю,
что говорят на языке чужом.

И ерунда, как выглядит снаружи
селенье то, где у собак парша,
ведь главное: толмач уже не нужен,
когда раскрыта, как тюльпан, душа.

.
* Чемергес – острое блюдо из протертых помидоров, хрена и чеснока; в Казахстане так называют самогон.

* * *

Я восхищался тем простым народом:
мои сержанты, из глубинки родом,
меня учили по сто раз на дню.
Что не умел я, то они умели,
и я, свой пыл горячий, приумерив,
завидовал напору и огню.

Какая хватка в достижение цели!
Мы это по достоинству оценим
потом, на стыке горя и побед.
В любом успехе их большая доля.
Но под какой счастливою звездой
они явились вдруг на белый свет?

Но никакого тут секрета, вроде:
всё дело в приближении к природе,
когда нагляден лишь её пример,
а в городе, в трущобах и высотках,
сдаётся мне, что даже воздух соткан
из паутины всяческих химер.

И тонем мы в той непонятной буче,
нас ничему, как надо, не научат,
и на устах — давно одна хула,
а не какой-то взвешенный анализ...
Куда же вы, сержанты, подевались —
ребята из сибирского села?

* * *

Я шел, спотыкался и падал, забыв про уют и жилье,
и видел, как тухлую пададь терзает в степи воронье.
И как-то не верилось в чудо. Я знал, что себе я не лгу:
что если я сильным не буду, то дальше идти не смогу,

что если впредь не стремиться, по-прежнему ждать чудеса,
то эти клювастые птицы мне выключают скоро глаза.
Все было открыто и прямо, как будто я предан суду.
И в сон я валился, как в яму, про цель забывая в бреду.

Но вновь поднимался, и снова, услышав, как воет шакал,
шептал я заветное слово — «дойти!» — и, как пьяный, шагал.
Барханы пылили, просеяв песок через сито ветров,
но брел я упрямо на север, к мерцанию больших городов.

Но здесь среди шума другого, где женщины ходят в манто,
«дойти!» — повторяю я снова, когда не поможет никто,
когда без конца и без края я чувствую в мире вражду.
«Дойти» — а куда? Я не знаю. Не знаю, но снова иду.

Перед дембелем

Время сонное зимы замедляет тихий бег;
неподвижные дымы приморожены к трубе.
Солнце мне заходит в тыл – солнце не перехитришь.
Любопытные коты на дорогу смотрят с крыш.

Проезжает самосвал – у шофёра сто забот,
а меня никто не звал и никто нигде не ждёт.
Никакой еще беды, жизнь не в тягость, как шинель,
и прозрачна, словно дым,
ждуший ветра в вышине

* * *

Жара. Мне голову пекло. На то он и Восток.
Он зноя жидкое стекло из осени исторг.
Меня встречал он, словно брат, а не песком пустынь.
Мне подарил он аромат продолговатых дынь.

Вторично зацвёл шафран, на ветках сох урюк...
И он мне вовсе не наврал, что был и брат, и друг.
Он зазывал меня домой, в зелёный Гулистан,
я знал, что под его чалмой, какие мысли там.

Прохладный ветер одувал, и был во всём покой,
и был меж нами не дувал, а лишь уклад другой.
Но прогремело много гроз с тех пор, и мы одни,
и мы живём так долго врозь, что те забыты дни.

И много развелось парши в садах бывлой страны...
Мы мерим всё на свой аршин, но разной он длины.
И я хочу спросить: пророк, ужель всему хана?
Когда по-новой соберёт всех вместе чайхана?

Другая армия

* * *

Ехал мальчик в поезде, ехал степью сизой,
а зачем он едет, не поймет никак.
Он и не догадывался: шлют на экспертизу,
чтобы в эпикризе написать: дурак.

Не была для мальчика та поездка сладкой —
ехал он с опаскою. Был он сам не свой.
Он не знал, что истина — ложь с двойной подкладкой,
и за каждый промах платят головой.

И какая разница: мозг там или вата?
С командиров спишется — экая беда!
Наказать построже бы этого солдата,
засадить в психушку — лучше навсегда!

Если дать им волю — они бы его дустом,
да вот в мире поняли: это — страшный яд
Мсть за независимость, мсть за вольнодумство
тоже будет страшною — берегись, солдат!

Поезд едет медленно. И не снять наручники,
два сержанта рядышком — прыгнет вдруг с моста...
Варвары с погонами не устав нарушили
и не Конституцию — заповедь Христа.

Армия российская, будни гарнизонные,
здесь солдат достоинство ценят ни на грош,
с бодуна здесь вечного ходят полусонные
и не любят мальчиков, чувствующих ложь.

Как на сердце муторно! Но к себе нет жалости.
Время, приумерь свою бешеную прыть!
Жизнь ещё не кончена. Дудки! Продолжается.
Надо только мужество, чтобы победить.

* * *

Я это когда-то на собственной шкуре примерил,
на шкуре салаги, на скорбном пути новобранца:
не может поэт стать когда-то воякой примерным,
ведь в личность другую не светит ему перебраться.

Теряются мысли, когда лишь одна несвобода.
Измена себе станет божьему дару изменой.
Но как быть со звездами? Там, в глубине небосвода,
они подчиняются строгим законам Вселенной.

Но как быть с другими, кто, не предаваясь печали,
восславил войну? Это, вроде, достойные люди.
Они убивали? Ну да, и они убивали.
Найдём ли подтекст в сердцевине их трепетных судеб?

Но полно! Секрета тут нету. Искать его тщетно.
И мысль эту трудно измерить практичною прозой:
они убивали, когда то убийство священо —
во имя отчизны, когда была жизнь под угрозой.

Не надо теперь вытирать о минувшее ноги.
Считаясь солдатом, я всё же остался поэтом.
И что из того, что я был в эти дни одиноким?
Я бился за нашу свободу, не зная об этом.

Я вытерпел всё, если даже за шизика держат,
я вытерпел всё, испытанья казались мне лажей,
ведь наша свобода нуждается в мощной поддержке,
и я отстоял её честно и без камуфляжа.

Маменькин сынок

А.И.

Был отец его неисправимым совком,
он ушёл из семьи, от красивых вещей,
и сын маменькин стал капризулей-сыном:
то — не так, то — не эдак, а это — ваще.

Но приспела пора поступать ему в вуз,
только ректора захомутало ГЭБэ
и маманьку до кучи. Такой вот конфуз.
Так угодно, наверное, было Судьбе.

И с повесткой пришли: собирайся давай,
кружку-ложку возьми, ждут иные миры.
И отправили малого — ясно, не в рай,
а в тайгу, где заели его комары.

Там бессмысленных дней он вкусил ассорти,
лупцевала его почём зря благота.
Он зубным порошком чистил грязный сортир
и солёные слёзы ночами глотал.

Он — совсем не качок, натуральный слабак,
и не мог для себя он создать тишину,

но среди перепуганных насмерть салаг
он однажды подальше послал старшину.

Били долго его — он подняться не мог,
но фингалом сплошным, как последний debil
улыбался тот маменькин в прошлом сынок —
он себя победил, он себя победил!

* * *

Я ни о чём крамольном не судачил,
хотя воспламеним, как креозот,
но я забыл о том, что на удачу
рассчитывать нельзя — не повезёт.

И как-то мимоходом, между делом
не думалось про слежку и тюрьму,
но интерес Особого отдела
я возбудил, я знаю, почему.

За то, что не был одержим чертями
марксистскими — они мне не друзья.
В глазах моих, наверно, прочитали
крамолу, скрыть которую нельзя.

Я это время не охаю праздно,
но никуда в сторонку не свернёшь:
крамола та носила имя Правда,
когда вокруг торжествовала ложь.

* * *

Надо оставить все мысли,
голову жизнь не вскружила.
Знаю: играть в кошки-мышки
небезопасно с режимом.

Мысли, а главное, души —
вот где рассадник заразы...
Стены имеют здесь уши,
как и глаза, — унитазы.

Сколько «жучков» в наших сотах
можно причудливо спрятать?
Ждут, не дождутся сексоты,
чтобы доносы сострепать.

Я фигурировал часто
в них, меня брали на мушку.
Кажется, было за счастье,
если тюрьма и психушка...

Годы промчались. Покоем
снова не пахнет, а сроком,
всё, как и раньше, такое,
не извлекли мы урока.

Вновь смотрит родственник волком,
вновь унитаза с глазами.
Как бы не сдать мне на двойку
этот повторный экзамен?

* * *

Я опять ни к чему ниоткуда приплыл.
Гауптвахта... Мне здесь не положен матрас.
Выводной, не томи, здесь звереют клопы,
я хочу подышать – ну, хотя б через раз.

Не осмыслят сие ни Платон, ни Декарт,
что отсюда транзит разве только в дисбат.
Это вроде купе, только это – плацкарт,
и страшнее чем это, быть может, лишь ад.

Вот и всё. Мне на жизни поставили крест,
и клопов легион наступает опять
к жениху, потерявшему столько невест,
что уже не способен за них воевать.

* * *

Не мог я совершить побег, не мог сбежать оттуда:
меня гноили на губе в числе гнилого люда.
Да, разношерстный тот народ был славой не увенчан:
кто пил, кто двинул в самоход, я был антисоветчик.

Я был заброшен натошак, как волк, в овечье стадо.
Я самовольно мыслил, как солдату и не надо.
Да много я встречал дерьма, так всё вокруг убого,
ведь наша армия — тюрьма, и разницы не много...

Я думал так, и в чем-то прав, наверно, был я вроде:
когда ты не имеешь прав, такие мысли бродят.
Когда не скрыться никуда от власти фанфаронов,
и попадаешь прямо в ад — во время фараонов...

Какой вираж, какой кульбит без пользы маломальской!
Но что-то там, внутри, свербит: ведь был тогда Даманский.
Один большой, сплошной бедлам, где не понять ни крошки,
и умирали парни там совсем не понарошке.

Увы, другого не дано, нельзя назад ни шагу...

Но как соединить в одно
и рабство, и отвагу?

* * *

Зачем всё это было? На что имелись виды?
Как псу под хвост, те годы, что в жизни много значат.
И вновь я задыхаюсь от горькой той обиды —
ведь всё могло сложиться, наверное, иначе.

Была альтернатива — у нас страна большая,
мы — не в тайге, в которой нет ощущения дали
(прости меня, цензура, я тайну разглашаю),
мы рыли шахты там, где враги совсем не ждали.

В степи, где нет деревьев, где осушать болота
не надо с раскорчёвкой, а если посчитаем,
то это — подешевле, всего минуты лёта —
и вот уже ракета зависла над Китаем.

И – всё: Китая нету. И блиннолицый Мао
про мощь своих дивизий, конечно же, наврал нам...
Но не случилось это, и сберегли мы мало —
всё, что могли, украли плохие генералы.

И шахты зарастают сурепкой и кермеком,
и нет в том королевстве хорошего завхоза.
А мы застряли в прошлом бесплотной тенью века,
какой-то непонятной трагической занозой.

Зачем, кому служили? Генсеку было точно
до лампочки. Народу? Не знали мы покоя.
И здесь теперь болото. И выпь кричит истошно.
И этот крик наполнен смертельной тоскою.

Гаунтвахта

I

Будили нас, когда едва забрезжит —
день световой свой график убавлял,
и улыбался нам с портрета Брежнев —
большой друган советским губарям.

Но там, среди своих кремлевских башен
в далёком том, застойном том году,
наверное, себе он верил даже,
всех призывая к честному труду.

Шумел ноябрь. Народ заполнил парки.
Был месяц, словно праздничный калач,
а этот труд был только из-под палки —

глядел мне в грудь нацеленный калаш.

И мы среди всеобщего загула
с носилками устроили конкур,
и конвоир — казах широкоскулый —
нам отменил законный перекур.

О, дарвинизм! Обман великий века.
В нём есть один существенный изъян:
труд обезьяну сделал человеком,
из нас он делал стадо обезьян.

Да, этот труд нетворческий, но всё же
и гауптвахта строит, и тюрьма.
Труд подневольный воплотиться может
в плотины и высотные дома.

Об это знали и Нерон, и Сталин,
но я не верю почему-то им,
поскольку этот мир парадоксален
и потому так дорог и любим.

2

Мне ещё надо в армии обжиться,
чтоб суть её я доосмыслить смог.
Домой поедут завтра сослуживцы,
я на «губе» мотаю новый срок.

Печёт вовсю июльская духовка,
но так морозно у меня в душе.
Я объявлю сухую голодовку,
поскольку снят с довольствия уже.

Лежу опять без всякого матраса,
без курева, обросший и смурной,
но не желает Армия расстаться,
поиздеваться хочет надо мной.

Она пугает ужасом дисбата,
что не приснится и в кошмарном сне,
и командир дивизии по блату
пятнадцать суток добавляет мне.

Но выбор был: с судьбой смириться, либо
продолжить бой, хоть не осталось сил.
Я был по-настоящему счастливым,
когда поверил в то, что победил.

Что позади бессмыслица и беды,

что не живу по правилам чужим.
И эта незаметная победа
была победой над собой самим.

* * *

Через неделю домой уеду
в город дуплистых душистых лип.
Это, наверно, моя победа,
что никуда я ещё не влип.

Убереженьями жизнь шпигую,
только гореть мне в ином аду:
ведь из армейской тюрьмы в другую
с бухты-барахты я попаду.

Те же, по сути, нары с парашей,
те же данайцев хитрых дары.
Даже в просторной Вселенной нашей
есть лишь свобода черной дыры.

Сколько в безбрежье том ни скитаться,
ясно становится лишь одно:
всё управляемо гравитацией,
всё притяжению подчинено.

Этот закон много раз испытан,
правда, бывает такой зигзаг:
тянет нас к центру, словно магнитом,
но и отталкивает назад...

Ставрополь

Не жал комбат мне руку напоследок —
я был губарь со стажем, но уеду,
и я обнял весь мой стрелковый взвод,
и в поезд сел, отправившийся в девять,
и ничего, увы, не мог поделать
с улыбкой, что растягивала рот.

Я ехал долго. Были пересадки,
а за окном столбы играли в салки,
мое воображение дразня,
и в этом ритме ровного движенья
происходило к дому приближенье,
и замирало сердце у меня.

Восторг крепчал. Стремительнее пули
я вылетел, хмелея от июля,
лицо сияло, словно лунный диск.
Задев мешок, свалив какой-то ящик,

я отыскал автобус проходящий
с табличкой «Элиста-Невинномысск».

Урчал мотор. Я отодвинул штору —
и дух перехватило от простора
холмистого. Не верилось глазам.
То делалось мне холодно, то жарко:
мелькали Извещательный, Татарка,
и наконец он показался сам.

Здесь, у подножья Комсомольской горки,
повеял ветер влажновато-горький —
он был упруг, как в градуснике ртуть.
Он был отнюдь не робкого десятка —
он Пушкину распахивал крылатку,
такой же странник, чей неведом путь.

И в непрерывном колыханье веток
я обнимал тот непослушный ветер,
и были с ним мы лучшие друзья.
Он подсказал мне, этот ветер шалый:
есть города прекраснее, пожалуй,
но есть такие, без каких нельзя.

* * *

АВГУСТ 1968-го

В те дни мы просто были клонами
под управлением Смотрящего,
и всех нас строили колоннами,
как для прививки против ящура.

И некто в генеральском звании
нас удостоил высшей милости:
признался, что нас ждет заклание
во имя вечной справедливости.

Но чем ту справедливость мерили?
Какими славными победами?
Возможно, мы наивно верили,
что замполит нам проповедовал.

Но только в бой шли не баранами,
цепляясь за надежду хрупкую,
что нужно так...
Меня не ранило
и не убило в мясорубке той.

Нет, был не в Праге – в Братиславе я,
бродил, как призрак неприкаянный.

Меня нисколько не прославили, —
наоборот, вконец охаяли.

Но мне не надо вовсе звонкости —
всё это кажется пародией.
Я не вникал в то время в тонкости —
я верен был любимой Родине.

Мне много лет. Не скроешь пудрою
морщин. Покрылись мы сединами.
Но ничего нет в мире мудрого,
чем жить нам всем семьёй единою.

Мысль эта вовсе не порочная,
она давно не мною пущена.
Ведь если даже смерть пророчится,
она – за светлое грядущее.

Забудем все обиды мелкие,
когда беда нам в двери стукнула.
Но как одной измерить меркою
то, что на грани недоступного?

* * *

М.М.

Сядем молча за прибранный стол,
выпьем сразу не граммов по сто,
а, как в том азиатском бедламе,
по стакану за тех, кто ушёл,
кто не сел с нами нынче за стол,
но кто вечно останется с нами.

Быстро наши редуют ряды.
Что есть жизнь? Это выющийся дым,
он обманет, как первые жёны,
не прибавит здоровья и сил,
и всё то, что в душе сохранил,
измочалит, как мельничный жёрнов.

Наливай же ещё и ещё,
чтобы затхоль и бедность хрущоб
мы забыли на время хотя бы.
Наши помыслы были чисты,
но вели к ним другие мосты
и не встретился с нами Хоттабыч.

А теперь... Что поделать теперь?
Впрочем, я не такое стерпел,
да и ты. Что об этом талдычить?

Потому-то и жизнь не пряма,
потому и приходит зима,
как охотник, что в поиске дичи.

СЛЫШИШЬ ЭТУ МУЗЫКУ?

Со мной навсегда

* * *

Коснёшься встревоженных клавиш —
и словно окутает дым.
Об этом словами не скажешь:
лишь музыкой мир объясним.

Но только откуда тревога
приходит опять и опять?
Как это безумно! Как много!
Как можно такое понять?!

* * *

На мгновенье забудь, что наш век суетлив,
что в прихожей не выключил свет, уходя, —
и услышишь давно позабытый мотив,
что сентябрь подбирает на скрипке дождя.

И услышишь, как листья поют, и остуд
не боятся. Не бойся и ты, оглядись —
и забудешь свой угол и сытый уют,
и душа устремится в рассветную высь.

И она воспарит над кленовою хной
и над ветром, что пыль водяную несёт.
Пусть в тот миг будет править твоею страной
эта музыка непостижимых высот.

* * *

Травой запахнет и весной,
и эта музыка — она,
как яблонь цвет, как шум лесной,
как море — светлая до дна.

И канделябры на стене поют,
и зал, что пустовал,
и вихри праздничных теней,
как фавны, пляшут по столам.

Я ожидал тепла давно,
я слышу снова шум ветвей.
Взгляни: оттаяло окно
от этой музыки твоей.

Танцы в стиле ретро

Играют в оркестре фагот и валторны,
забытою нежностью пахнут гвоздики.
И ноги скользят – и легки, и проворны,
и платья мелькают, как лунные блики.

Подъем, волоокие виолончели,
чтоб каждый, услышав вас, засомневался:
оркестр заиграл или птицы запели!..
Откуда взялась ты, мелодия вальса?

Тебя нашептал мне прибор белопенный
цветенья, что выюгой бушует над кручей,
исторгнув из хаоса древней Вселенной
гармонию этих весенних созвучий.

Взлетают они лепестковою тенью,
по-детски доверчивы тихие трели.
Да здравствует это безумство круженья,
что мы у небесных светил подсмотрели!

Пусть вновь, как от бега, стесняет дыханье,
пусть будет черемуха в россыпи росной.
И тайна – глубокая, как мирозданье,
в глазах твоих, свет отражающих звёздный.

* * *

Сорок первый. Павлоград. Полымя, геенна.
То последний был парад трубачей военных.
Им велят шагать вперёд – пусть свои застрелят,
пусть угаснет этот род – красных менестрелей.

А они вовсю дудят, туба вопль исторгла,
оглашая этот ад музыкой восторга.
Вот уже оркестр полка в двух шагах от рая.
Кровь струится с мундштука, а кларнет играет.

Он играет как бы сам, сократив длинноты.
Как немой, он по губам прочитал все ноты.
Над землей застыл рассвет, немец чешет темя,
потому что в мире нет гениальной темы.

* * *

Я слышу звёздные лучи, когда весь мир окрашен хной.
Какая музыка звучит в осенней тишине ночной!
Как голос из иных миров, где не присутствует беда,
как будто звон колоколов, что очищает, как вода.

Благоухая, как сандал, она покинуть не спешит —
она со мною навсегда,

ведь это музыка души.

Был пианист уже изрядно лыс
и аскетичен, как индийский йог.
Он выходил бочком из-за кулис —
зал еле-еле сдерживал смешок.

И медленно мелодия плыла,
как облака: за слоем – новый слой,
прозрачна, удивительно-светла,
как сад, омытый солнечной водой.

И не было печалей и обид,
и пробирала, как в ознобе, дрожь.
...А фрак на нем рогожею висит.
Нисколько на артиста не похож.

* * *

Шаркал дождь. Было холодно, ветрено, хлипко,
но набрызгал юпитер светящихся струй,
и высокая девочка с тихой улыбкой
вдруг коснулась смычком расколдованных струн.

И не мог я понять: одурманили сны ли,
или что-то, что мне неизвестно пока?
Пели струны, как робкие птицы лесные,
и была та мелодия сладко-горька.

Как рябина в меду, как перчинка в шербете,
нам тепло обнажённого звука неся...
И слезами всех ныне живущих на свете
эту радость, наверно, оплакать нельзя.

* * *

Это – финиш, катарсис того, что мечта,
но не много ли этой волшебной мечты?
Убегает душа от погони смычка
за пределы гармонии и чистоты.

Поражённая молнией, старая ель,
заглянувшая ночью в бескрайнюю высь,
стала скрипкой, которая гонит метель
из разрозненных звуков, что вместе слились.

Эта музыка всё, что неважно, сомнёт,
и наполнит сердца жаркой силой огня,
чтоб остаться, навеки остаться со мной
и для тех, кто заступит на смену меня.

* * *

Синь загоняя в угол тучей, чьи рваны клинья,
лето выводит фугу шестиголосым ливнем.
С мокрой сползая горки, тёплое тело ночи
музыку эту горлом, сердцем своим доносит.

Может, пойму случайно этот поющий ветер,
сладкую эту тайну —
тайну всего на свете?

* * *

Верни эту музыку лёгким касанием клавиш,
пойми – это время в смертельный тупик завело,
когда для спасенья души что угодно оставишь —
жену и друзей, чтоб седлать не пришлось помело.

Верни эту музыку, лунные эти сонаты,
опасную близость – так бабочку тянет к огню.
Как преданный друг и как верная раньше собака,
забывшая кличку, надежду я в сердце храню.

Верни мне мой сон, я доверюсь, как прежде легенде,
когда неуместен позорный и нищенский торг,
когда, словно кобру, волшебная флейта и Гендель
заставят меня пережить тот забытый восторг.

* * *

Из-за наносов мусора, из-за всего, что лишнее,
вдруг возникает музыка – музыка еле слышная.
Очень уж незатейливо, напоминая давнее, —
тощею хризантемой
в бедности увядания.

Камнем, что в воду бросили, синью, что небом послана,
музыка ранней осени, словно гвоздем по прошлому.
Сколько всего потрачено, я не скажу уверенно,
чтоб ощутить прозрачное,
легкое дуновение.

И наплывёт несмелая лодка надежды зыбкая...
Что же со мною делают этот фагот со скрипкою?
...Всходы дают озимые, слыша, хоть непогодило,
эту необъяснимую,
как волшебство, мелодию.

* * *

Сопрано гобоя и тубы контральто...
Мир музыке этой открыт,

и жизнь висит в немыслимом сальто,
и скрипки рыдают навзрыд.

А мы не успели к беде прицениться,
уроков никто не извлёк.
Немыслимым цветом слепит медуница —
так слепнет от фар колонок.

И кажется мир беспредельным и светлым,
ещё не покажет он тыл,
и мы, унесённые солнечным ветром,
не видим нигде черноты.

Ещё не обижены жизнью мы слишком,
характер ещё, как желе.
Мы музыку эту попозже услышим,
когда уже поздно жалеть.

Когда уже нет изначального страха,
что в тёмную дьявол сыграл,
когда примиряет с симфонией Баха
беды запоздалый хорал.

* * *

Сверкает на солнце корнет-а-пистон,
но тембр его мрачно-постыл,
и он обещает не синий простор,
а пыльный крапивный пустырь.

И снова душа облегченно пуста,
как серой дороги миткаль,
и бьётся, как в клетке, мелодия та
в потерянном сердце цветка.

Сыграй, трубодуй, что-нибудь веселей,
чтоб трав не замедлился рост,
чтоб жизнь не была той дороги серей,
упёршейся в древний погост.

Чтоб в небо взлетала на зависть орлам,
забыв про любимых и дом,
чтоб душу она, как рубашку, рвала
в каком-то запале хмельном.

Когда уже всё, когда близится край,
когда замахнулись мечом...
Сыграй, музыкант, напоследок сыграй,
пусть музыка та ни о чём.

Перекрёсток путей объездных

* * *

Я вернулся в тот город, которого нет,
я всего опоздал лишь на пару минут:
я забыл, словно впавший в маразм интернет,
что часы у меня навсегда отстают.

Я брожу по кварталам, как эхо, пустым.
Этот город корёжит меня, словно тиф,
он, как запах помойки, тяжёл и постыл,
я уже не успею себя в нем найти.

Этот город – лишь слепок, всего лишь макет,
я поверил, – такой я упрямый болван, —
что вернусь в этот город, которого нет,
значит, то, что я в нём, это просто обман.

И напрасно сейчас, у всего на краю
сознавать, что я сдал боевые посты.
Значит, время умчалось, а я вот стою
у гробницы своей запоздалой мечты.

* * *

Растёт моя беда, как мозговой полип,
и больше мне теперь нигде не отогреться:
как прежде, колотун, и по ночам болит,
скулит бездомным псом изношенное сердце.

Я тупо обхожу стада могучих льдин,
похожих на дома, но где то время оно?
Дверь дергаю – увы, сегодня ни один
подъезд не впустит внутрь – на страже домофоны.

Кому бы позвонить? Найдётся ли душа,
что может приютить меня с судьбой такою?
Боюсь, что получить могу и по ушам,
и отповедь, что зря кого-то беспокою.

И снова я иду в обшарпанном пальто
в обнимку с январём – другого нету друга,
не ведая судьбы, не зная, что потом,
но лучше и не знать, когда такая выюга.

* * *

Нас город всех погубит, мы все в его лассо.
Его стальные губы плюют в моё лицо.
В том сатанинском пекле, где ждательный падеж,
мы станем серым пеплом

несбывшихся надежд.

Мы взглядом жизнь окинем и сразу же поймём,
что стали никакими в том мире никаком.
Нам город режет крылья, в свою ввергая тьму,
но нас приговорили
пожизненно к нему.

* * *

Кто алкаша гегемоном нарёк,
тот был не склонен на шутки:
прёт этот алчущий водки народ,
жаждут отравы желудки.

Катит в пивнушку кочующий сель,
речка, где водка, не близко,
и берега у неё не кисель —
пробки, стаканы, огрызки.

Ни одного не увидеть лица,
это — как хлоркой по коже,
это — наверно, начало конца,
Ленин ошибся, похоже.

И не подумал, витийствуя, он
о вероятности риска...
Славься ж во веки веков, гегемон,
славься отныне и присно!

* * *

Свет фонарный оплыл, опух,
и порхает, как в сладком сне,
словно белый лебяжий пух,
очищающий душу снег.

Жизнь мелькнула, точно болид.
Я забыл, кто мой враг, кто друг,
потому что душа болит,
когда стены сомкнулись в круг.

Когда чёрный окреп минор,
не спасёт никакой ремонт,
когда всё вокруг замело
до скончания всех времён.

* * *

Бездомным псом, что ищет, где приткнуться,
мечусь по миру в поисках тепла,
и пухнет льдом фарфоровое блюдо

на скатерти небесного стола.

Нет у меня ни дома, ни пожиток,
ни курева, и затупился меч.
Как этот снег, летящий с неба, жидок
мой вид на сбычу самых нищих мечт.

И, словно пулемёты в капонири,
беда метелью целится в меня.
И нет тепла, и нет покоя в мире,
покуда всё растёт её броня.

* * *

Развернуло дороги рулон
это таксомоторное дерби,
и попал я в бандитский район.
Занесёт же нелёгкая в дебри!

Я ни с кем здесь не ворковал.
Унести бы подальше мне ноги.
Этот длинный безмолвный квартал
привечает, похоже, не многих.

Не услышит, убьют здесь кого
и кому здесь карманы обшарят.
Темнота. И далёкий огонь
то ли красной луны, то ль пожара.

Детективный почти сериал,
и так близко до самого края:
я здесь ориентир потерял
и себя понемногу теряю.

Как валун ледниковый, замшел,
наступаю на те же я грабли.
Но меня не ограбить уже,
потому что до нитки ограблен.

Я иду, поседевший брюнет, —
быстро молодость так пролетела.
И не то что бумажника нет —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.